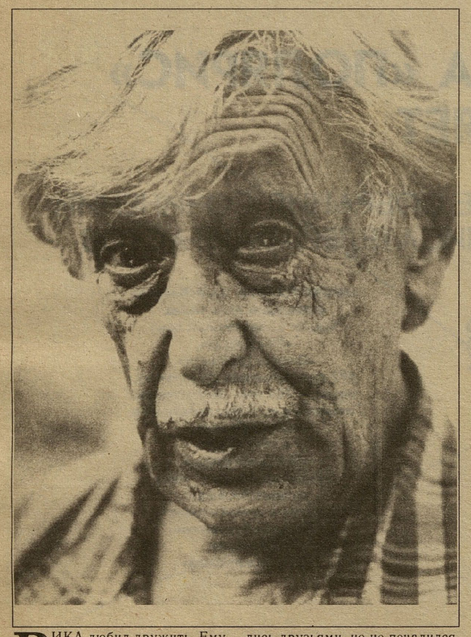
1109.92 Некрасов В.П. -1992.-11 сент.- с.8-9. 59



Станислав СЛАВИЧ

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО — ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

Пять лет назад ушел из жизни русский писатель Виктор Платонович Некрасов. Из жизни... но не из нашей памяти.

ВИКА любил дружить. Ему доставляло удовольствие проявить заботу, оказать внимание товарищу и тем более другу. Постоянно тревожился: «Сашке негде переночевать...», «У Рафы неприятности на студии...», «Гаврилу опять вызывали...», «Янчику нужны какие-то лекарства...»

Могу ли я забыть, как он, сам еле сводивший концы с концами, в дни крайнего моего безденежья пытался сунуть мне в карман сотню рублей. Из тех денег, что время от времени подбрасывали ему друзья. Поистине готов был поделиться последним.

Любил дружить. Думаю, что это была одна из главных его черт. Она, кстати, чувствуется и во многих его вещах, стала сквозной темой — вплоть до последней «Маленькой печальной повести».

При жизни Виктора Платоновича как-то сам по себе сложился кружок, где он был (вовсе к этому не стремясь) центром притяжения. Над этим можно, конечно, посмеиваться: кружок собутыльников, которые чаще всего разделяли с Викой застолье. Пусть так. А мы и не искали в нем пророка, законоучителя, «самого-самого». Он был добрый товарищ, верный друг, которым мы гордились.

Гордились его «Окопами Сталинграда».

Тем, как он, наш Вика, держится со всеми этими, выкручивающими ему руки. Чего стоило, когда он на каком-то важном собрании, где его прорабатывали, начал путать имена секретарей ЦК, называя Шелеста (первого секретаря) Скабой (этот ведал идеологией), а Скабу — Шелестом. Сначала, кажется, по незнанию перепутал, а потом вошел во вкус...

Его корили за легкомыслие. Думаю, не без основания. Да, бывал легкомыслен. Но был и серьезен. И всегда был добр. Я думаю, что ему нравилось казаться легкомысленным, несерьезным, дилетантом в литературных делах. Само же качество его прозы, важнейшие его поступки говорят, что Виктор Платонович Некрасов был очень серьезный человек.

Любил знакомить людей, которые ему нравились, радовался, если они потом тоже становились друзьями, но не печалился, когда ничего из этого не получалось.

Так было, когда вдруг пришла открытка: в Ялте, в какой-то гостинице, живет Вася Шукшин. Зайди, передай привет и выпейте за мое здоровье.

Не пошел и до сих пор жалею.

Так было, когда написал, что в Симензе, в туберкулезном, находится Ваня Д. Мерзнет — нет теплых вещей. Привезите, если есть что. Поехали с Яном Вассерманом.

Так было, когда в Ялте появился на взятом напрокат «москвиче» Володя Войнович и возникла идея съездить всей компанией (включая Викину маму Зинаиду Николаевну) в Керчь, к Володиным родителям. Что за удивительная поездка через весь Крым получилась!

Так было, когда он однажды затащил меня в дом к Лунгиным, которые стали с тех пор мне людьми близкими и родными.

Так было с Анной Самойловной Берзер, «нашей Асей», как называл ее Вика. Вклад этой женщины, заведовавшей отделом прозы в «Новом мире», в нашу словесность по-настоящему еще не оценен. Она первой в журнале прочла «Один день Ивана Денисовича» и не просто сразу же оценила непреходящее значение этого великого произведения, но и сделала все, что могла, для скорейшего его напечатания. Она была одной из тех, кто делал все, что мог, чтобы облегчить последние страдания умирающего Гроссмана. Она всегда делает все, что может.

Я был знаком с нею раньше, но только благодаря Некрасову Анна Самойловна стала и для меня «нашей Асей».

Господи, да сколько раз так было!..

ПРИ жизни Сталина доброхоты-редакторы советовали Некрасову добавить в романе упоминаний о великом вожде и полководце. Он ответил: «Пусть будет, как есть». После смерти отца народов и особенно после переименования Сталинграда те же доброхоты требовали вообще убрать имя Сталина. И опять Некрасов отвечал: «Пусть будет, как есть». Ему ничего не нужно было менять, нечего было стыдиться.

Это был тот редкий случай, когда появилась в нашей печати и даже была отмечена Сталинской премией абсолютно честная, внутренне свободная, нелживая вещь.

«Подумаешь, великое дело — говорить правду!» — могут сказать (и говорят иной раз) сегодня.

Великое! В.П.Некрасов был один из тех, кто в самое лютое, глухое время спасал честь отечественной словесности.

Не берусь судить, кто именно из киевских друзей полушутя-полусерьезно стал его за глаза называть «классиком». Но шутки шутками, а «Окопы» Некрасова и впрямь классика. Популярность романа была необыкновенной. Добавьте к этому демократизм, общительность автора, его открытость, готовность тут же перейти на «ты»...

Лауреат определенно не стремился казаться человеком солидным, респектабельным; можно сказать, что его большей частью не заботило, как он выглядит, и это было еще одной отличительной чертой. При всем этом даже в кобойке с расстегнутым воротом, в потертых джинсах и кедах он выглядел изящным и легким.

Я об этом потому заговорил, что как-то мелькнуло в воспоминаниях: каким-де несчастным показался бедный Вика в Париже — даже шарфа на нем не было, пришлось мемуаристу свой отдать. Подумалось: а в Москве и Киеве он что — в енотовых шубах ходил? В таком же подбитом ветром пальто и тоже с открытой грудью. Это был, если хотите, его стиль.

Охотно верю, что взял этот шарф и даже расчувствовался, потому что брал у хорошего парня, усмотрел в этом некий жест и откликнулся на него. Сам любил дарить, делать сюрпризы.

Кстати, в Париж-то не за сытой жизнью, не к полным прилавкам поехал. Применительно к себе его это не занимало. Любил выпить и закусить, но вполне довольствовался водочкой и плавленными сырками. Сейчас, после наступивших в стране перемен, вернулся бы домой в числе первых, делил бы вместе с нами нынешние горести и беды. Уехал потому, что не мог больше мириться с несвободой, с ложью, с диктатом дураков, которые указывали, что, о чем и как надо писать.

Ведь все, что он мог позволить себе здесь, — подписи под письмами в защиту других людей да эскапады в адрес власть имущих, которые его травили, но все яснее становилось, что до добра это не доведет. Правильно сделал, что уехал. Иначе не было бы тех вещей, что написаны в его последние годы. Не было бы, потому что не умел конспирироваться, таиться, писать в стол и держать язык за зубами.

Оглядываясь в прошлое, во времена шельмования и травли, когда одним литераторам доставляло, казалось, особое удовольствие пинать ногами других, а то и вытереть с благословения начальства о них ноги, поражаешься абсурдности происходившего. Складывалось впечатление, что каждой новой публикации Некрасова ждали, чтобы тут же на нее обрушиться. Он был из тех, кому особенно доставалось.

Однако происходило это на глазах миллионов и подсгущено вызывало прямо противоположную реакцию. Рождалось отвращение к наглой лжи. И не только в кругах интеллигенции. Будем помнить: лучшие писательские публикации ломали сложившиеся стереотипы, будили мысль, рыхлили почву, сеяли семена для перемен.

Ведь что такое, скажем, некрасовские очерки о Франции, Италии, Америке, за которые его ругали «туристом с тросточкой»? Разрушение образа врага, как мы говорим сегодня. Но он-то писал свои вещи в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов.

Некрасов был много и многих повидавшим, образованным, знающим человеком. Однако не помню, чтобы он когда-либо демонстрировал, выказывал это, что, увы, нередко у нас бывает. Назидательность была ему просто чужда.

Общение с ним обогащало. Его суждения были остры, парадоксальны и тонки. Свежая мысль, неожиданное наблюдение возникали как бы между прочим. А может, и впрямь между прочим. Он говорил, что думал, вот и все. При этом не навязывал своих оценок и взглядов, был терпим к чужому мнению. Весьма терпим. За одним, как мне кажется, исключением. Русский интеллигент, дворянин по происхождению, он был абсолютно чужд национальных предрассудков и особенно — национальной спеси. Это было для него неприемлемым и даже враждебным. Он всегда был на стороне гонимых и преследуемых, но особенно — если человека преследовали только потому, что он еврей или, к примеру, крымский татарин.

УДИВИТЕЛЬНОЕ дело — Некрасов разрушал образ врага, утверждал общечеловеческие ценности, а из него самого хоть и топорно, но настойчиво пытались **сделать** врага, «антипатриота». До чего же это было гадко, особенно если вспомнить фронт, ранения, боевые награды. Не сказать, чтобы он нестерпимо страдал. И все же страдал. И выход это находило во хмелю.

Как-то после очередной его филиппики по поводу происходящего у нас в стране я спросил, а как он там, «за бугром», говорит на эти темы. Усмехнулся:

— Как мог, пытался защищать этих дураков...

Но к тому времени его уже давно не выпускали за границу. Уж не потому ли, что понимали: защищать их стало невозможно.

Кстати, зная его, уверен: защищал он не из желания кому-то потрафить или продемонстрировать лояльность. Предпочитал говорить все, что думал, здесь, дома, прямо в глаза.

Оскорбительно было то, как его не выпускали.

Год назад у нас была, наконец, опубликована еще одна «маленькая печальная повесть» Вики, написанная за границей. Называется она замысловато. Вначале безобидное французское проклятие — «Саперлипопет» и тут же русское — «или Если бы да кабы».

Читая ее еще в «тамиздате», я вдруг подумал о Некрасове: а ведь он был не так уж и открыт, как казалось, не так уж и распахнут. Никогда почти не вспоминал о своем погибшем старшем брате, например... Здесь он рассказывает и о нем, и о своей тогда еще молодой и полной энергии маме, работавшей госпитальным врачом в Париже в годы Первой мировой войны, о тете Соне — удивительном, судя по тому, что я знаю о ней, человеке. Я думал о мальчике Вике, гулявшем в Люксембургском саду, о его семье, знакомой с Ульяновыми, Луначарским, с радостью встретившей революцию в России и поспешившей из Франции, где было, между прочим, и сытнее и спокойнее, на родину, чтобы помочь ей, чем только можно. Интересы родины — так без громких слов было заведено в этой семье — превыше всего!

И вот этого исколесившего полсвета Вику, ставшего героем войны и знаменитым писателем, не пускают теперь проститься со стариком дядей, доживающим свой век в Швейцарии. Не пускают, явно глумясь, издеваясь, демонстрируя человеку его полное бесправие и незащищенность.

Преподавались Некрасову и другие уроки такого же рода. Вызывали они, как мне кажется, не только чувство бессилия, но и ярость, гнев. Как раз в то время, помнится, он начал писать «в стол». Раньше, случалось, простодушно огорчался, что вот-де у него, в отличие от некоторых других писателей, ничего не лежит под запретом в столе — с бо́льшими или меньшими потерями, но написанное, хоть и с трудом, все же публикуется.

«Сюрреалистические» рассказы о Корнейчуке и о Сталине удивили и восхитили. Особенно первый. Ничего подобного у него прежде я не знал. Однако дальнейшее и, в частности, появление повести «Случай на Мамаевом кургане» показало неслучайность этих вещей.

КОГДА человек уходит, мы запоздало вспоминаем огорчения, которые причинили ему. Не обойтись без этого и мне.

Шли как-то по Приморскому парку в Ялте. Направлялись в сторону Желтышевского, тогда еще почти дикого, не тронутого застройкой пляжа. Нас ждала теплая компания. Предстояло милое, вполне бестолковое мероприятие с уликой, ставридкой, поджаренной на шкаре, и прочим. О чем-то говорили. Неожиданно Вика спросил:

— Как тебе памятник?

— Не очень, — ответил я.

— Почему?

Чехов на памятнике в ялтинском Приморском парке изображен сидящим с записной книжкой в руке. Мне что-то не нравилась записная книжка. Почудилась в этом нарочитость.

Чехов сидел, закинув ногу на ногу, и нависавший над пьедесталом левый башмак бросался в глаза прежде всего, отвлекал внимание, казался огромным. Все дело, видимо, в ракурсе. Допущен, на мой взгляд, просчет...

Я сказал об этом и увидел: Вика огорчился. Но почему?

— Этот памятник сделал мой родственник, — сказал он.

Мы подошли поближе, и я прочел: скульптор Мотовилов.

Мотовилова — девичья фамилия его мамы.

Но не это, пожалуй, было главным. Огорчило его, по-видимому, то, как решительно, с зубоскальством я говорил и об этой книжечке, и о башмаке, а в сущности — о чужой работе. Посмотрел даже, помнится, на меня удивленно: откуда, мол, ребята, в вас эта злость?

Другой случай произошел в Киеве, у Некрасова дома. Говорили о несчастном, униженном положении литератора в нашей стране, о давней традиции в этом отношении. Говорил главным образом я, потому, наверное, что как раз накануне из журналов вернули несколько вещей, а в издательстве намертво забодали сборник рассказов — и все это с сочувственными, извиняющимися письмами или словами. Вика молча слушал. Ему ли всего этого не знать! Каждая его публикация превращалась в сражение.

Но речь шла все-таки не о нем, не обо мне, не о наших общих знакомых, а в о о б щ е, о традиции, о ставшем в нашей стране нормой отношении власти к пишущему человеку. Ведь даже Пушкин, сам Пушкин бывал не раз унижен...

— Что ты имеешь в виду?

— Да хотя бы его обращение к этому сукину сыну Бенкендорфу.

В прихожей стоял стеллаж, набитый книгами, и я взял 10-й том Пушкина — письма. Без труда, поскольку листал этот том раньше, нашел, что хотел: «Милостивый государь Александр Христофорович, по приказанию Вашего превосходительства, являлся я сегодня к Вам, но меня не хотели пустить и позволить мне дожидаться...» То есть Пушкина выгнали по сути!

— Не надо, — попросил Вика.

Я, однако, не мог остановиться. «...С благоговением приемлю решение государя императора и приношу сердечную благодарность Вашему превосходительству за снисходительное Ваше обо мне ходатайство...»

Следующий абзац, как мне казалось, просто невозможно было не процитировать — настолько он оказался злободневным: «Так как шесть или семь месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне уже не удастся. Если Ваше превосходительство соизволите мне испросить от государя сие драгоценное дозволение, то вы мне сделаете новое, истинное благодеяние...»

— Не надо, — опять попросил Вика, но мог ли я не дочитать до конца!

«...Пользуясь сим последним случаем, дабы испросить от Вашего превосходительства подтверждения данного мне Вами на словах позволения: вновь издать раз уже напечатанные стихотворения мои...»

Вика протянул руку и взял у меня книгу. При его деликатности это было равносильно тому, что он ее у меня вырвал. Он страдал. Ей-богу. Ему доставляла страдания эта история.

ПРИТОМ, что его проза большей частью точна, стройна, взвешенна, что сам он был ироничный человек, в моей памяти Виктор Платонович остается мечтателем и романтиком. Так в д'Артаньяне (а Вика всегда казался мне похожим на него) удаль и готовность обнажить, черт возьми, шпагу сочеталась с житейским практицизмом.

Все ли рады возвращению Некрасова? Вопрос из категории странных. Но еще более странными кажутся мне некоторые пассажи, сопровождающие это возвращение. Люди вполне вроде бы доброжелательные предпочитают писать или говорить о В.П. то как о славном малом (кажется, и сам я отчасти сбился на этот тон), то как о неком enfant terrible, шокирующем чрезмерной непосредственностью.

Бывает и хуже, когда после дежурных слов о добром малом Вике вдруг читаешь: «Там, где он начинал писать **художественно,** выдумывать психологию, он сразу терял».

Можно — и надо бы — не заметить этой фразы, но не могу и не хочу. Тем более что вижу в ней рецидив давней хронической болезни, имя которой — снобизм, вызванный узостью, запаренностью мышления. Ею иной раз страдали даже люди поистине замечательные.

Вспоминается давний эпизод. Было это в году, видимо, шестьдесят пятом или около того. Скорее всего — летом, потому что шли мы от Лунгиных по Садовому кольцу пешком, и я заранее оговорил, что в редакцию заходить не буду, покурю на скамейке в сквере, что за спиною Пушкина.

Некрасов шел на заседание редколлегии, где должны были обсуждать его новую вещь.

Ждать пришлось довольно долго. Наконец он вышел, и мы поплелись назад, петляя переулками, в которых я до сих пор толком не могу разобраться.

Я ни о чем не расспрашивал: захочет, сам все скажет. Однако отметил, что Вика невесел.

Он предложил зайти в «Олень», заведение возле планетария, где в те времена еще «подавали».

— Знаешь, как начал Твардовский редколлегию? — сказал вдруг Вика.

Я промолчал — откуда мне знать?

— «Нам предстоит трудная задача: рассмотреть очередное слабое произведение Виктора Некрасова...»

Я даю здесь эти слова как прямую речь, что, конечно же, неправильно: невозможно четверть века спустя дословно по памяти воспроизвести сказанное человеком. Однако за точность именно этих услышанных тогда слов готов поручиться: они меня поразили своей несправедливостью. «Очередным слабым произведением» была повесть «Случай на Мамаевом кургане» — вещь глубокая и тонкая, полная силы и изящества, печали и иронии. Одна из самых дорогих для меня некрасовских вещей.

Тут необходимо отступление. За какое-то время до этого я виделся с «нашей Асей» и — так случилось — произнес чуть ли не речь о Вике. Она спросила: «А ему самому вы это говорили?» Я удивился: зачем? Разве ему это нужно? Анна Самойловна сказала: нужно. И вот теперь я сам, наконец, это увидел.

Тот удар, о котором сейчас речь, был из тех, что наносятся дружеской рукой и с полным чувством собственной правоты. Потому и был особенно тяжел. Впрочем, такое в истории нашей словесности не раз бывало.

Я даже думал одно время: не в самом ли Вике причина? Не в его ли манере держаться, в неуменьи и нежелании корчить из себя мэтра?..

(Конечно же, говорил я не совсем так, и выражения употреблялись куда более энергичные, но не в том суть. Я говорил, что думал, и сейчас вспоминаю об этом потому, что думаю так же).

...Твои «Окопы» — первая (и долгое время бывшая единственной) по-настоящему честная книга о той страшной войне, которую мы пережили. Когда-то говорили: все мы вышли из гоголевской шинели. Многие писавшие или пишущие о войне могли бы сказать, что они вышли из некрасовских «Окопов».

Ты написал первую честную книгу о послевоенной жизни — «В родном городе». Своей «Кирой Георгиевной» ты открыл тему «великого реабилитанса». Твои заграничные очерки открыли нам мир нормальных людей, которые не догоняют, не перегоняют, не перевыполняют, а просто живут по-людски. И все это не потому, что ты специально спешил выполнить чей-то «социальный заказ», — такой у тебя склад таланта. Тургенев тоже не заигрывал со злободневностью — он просто писал романы, которые волновали людей своей остротой.

И нынешняя твоя повесть есть нечто принципиально важное и новое: она — первая за долгие десятилетия «странная» вещь в нашей литературе...

Позже, после опубликования повести в журнале (она была все же напечатана), мы как-то вернулись к этому.

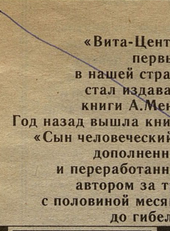
— Нет, она не была первой в этом роде, — сказал Некрасов. — Еще раньше в «Новый мир» Катаев отдал «Святой колодец».

— Но первой опубликована все-таки твоя вещь...

Он пожал плечами. Ему это, видимо, не казалось существенным и важным. Теперь и я с ним согласен. Существенно и важно было другое — то, что после смерти Твардовского он написал полный искреннего и доброго чувства очерк о нем. И в этом — весь Вика.

Фото М.ЛЕМКИНА (США).

«Вита-Центр» первым в нашей стране стал издавать книги А.Меня. Год назад вышла книга «Сын человеческий», дополненная и переработанная автором за три с половиной месяца до гибели.



Заключительная книга этой серии «И было утро...» уникальна. Она включила в себя свидетельства-воспоминания тех людей, для которых жизнь и учение Христа стали Светом благодаря отцу Александру. Здесь впервые помещены воспоминания матери Меня

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТА-ЦЕНТР»

закончило выпуск четырехтомника, в который вошли труды протоиерея АЛЕКСАНДРА МЕНЯ и воспоминания о нем.

Затем последовали расшифрованные с магнитофонных записей лекции «Радостная весть» и проповеди «Свет во тьме светит», удивительно точно запечатлевшие стиль и ритмику замечательного проповедника.

— Елены Семеновны и книга В.Я.Василевской о трагической судьбе Русской церкви. Часть средств от издания четырехтомника поступит в фонд «Культурное возрождение» имени Александра Меня.

Заказы можно сделать по телефонам: (095) 209-43-98, (095) 209-01-15.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА

В двух книгах энциклопедии «Лауреаты Нобелевской премии» представлена, по существу, почти вся мировая интеллектуальная элита — выдающиеся физики, медики, экономисты, писатели, общественные деятели, все те, кто, согласно посмертной воле Альфреда Нобеля, шведского инженера-химика и промышленника, был удостоен Нобелевской премии за 85 лет, с 1901-го по 1986 г.

Это издание представляет собой перевод американского словаря «Nobel Prize Winners», вышедшего в 1987 г. в нью-йоркском издательстве «Уилсон компани», которое уже многие годы специализируется на выпуске подобного рода литературы.

Издание рассчитано (как отмечено в предисловии главного редактора американской энциклопедии Тайлера Уоссона) на широкого читателя — отсюда общедоступный, популярный стиль биографических очерков, авторы которых акцентируют внимание на жизнеописании, на научных и творческих достижениях лауреатов.

Каждая статья сопровождается библиографией, перечнем трудов лауреата на английском языке, дополненным в ряде случаев перечнем на других языках (как правило, это лишь те книги, статьи, которые не упомянуты в биографическом очерке), списком работ, посвященных лауреату, на английском и других языках, и, наконец, библиографией на русском языке, в которую включены наиболее известные, издававшиеся в нашей стране труды лауреатов и литература о них.

Энциклопедия «Лауреаты Нобелевской премии» выпускается за рубежом один раз в пять лет. Американское издание 1987 г., содержащее сведения о лауреатах 1901—1986 гг., «опаздывало» всего на год, справочник же на русском языке к 1992 г. будет «отставать» уже на шесть лет. Именно поэтому, чтобы отчасти восполнить пробел, в тематический указатель, выстроенный в хронологическом порядке, включены отмеченные знаком имена нобелевских лауреатов последних лет.

Лауреаты Нобелевской премии: Кн. 1, 2. — М.: Прогресс, 1992. — 25 000 экз.